

Викентий Вересаев

Да здоровствует весь мир!



*Часть сборника
Живая жизнь*



Живая жизнь

Викентий Вересаев

Да здоровствует весь мир!

«Public Domain»

1910

Вересаев В. В.

Да здравствует весь мир! / В. В. Вересаев — «Public Domain»,
1910 — (Живая жизнь)

«Солнце – яркое, горячее солнце над прекрасною землею. Куда ни взглянешь, всюду неожиданная, таинственно-значительная жизнь, всюду блеск, счастье, бодрость и вечная, нетускнеющая красота. Как будто из мрачного подземелья вдруг вышел на весенний простор, грудь дышит глубоко и свободно.

Вспоминается далекое, изжитое детство: тогда вот мир воспринимался в таком свете и чистоте, тогда ощущалась эта таинственная значительность всего, что кругом...»

Содержание

I	5
II	10
III	12
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Викентий Викентьевич Вересаев

Да здравствует весь мир!

(О Льве Толстом)

Немец засмеялся, вышел совсем из дверей коровника, сдернул колпак и, взмахнув им над головой, закричал: – Und die ganze Welt hoch!

Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над головой и, смеясь, закричал: «Und vivat die ganze Welt». Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека эти с счастливым восторгом и братского любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись, немец – в коровник, Ростов – в избу.

«Война и мир»

I

Единство

Солнце – яркое, горячее солнце над прекрасною землею. Куда ни взглянешь, всюду неожиданная, таинственно-значительная жизнь, всюду блеск, счастье, бодрость и вечная, нетускнеющая красота. Как будто из мрачного подземелья вдруг вышел на весенний простор, грудь дышит глубоко и свободно. Вспоминается далекое, изжитое детство: тогда вот мир воспринимался в таком свете и чистоте, тогда ощущалась эта таинственная значительность всего, что кругом.

Среди прекрасного мира – человек. Из души его тянутся живые корни в окружающую жизнь, раскидываются в ней и тесно сплетаются в ощущении непрерывного, целостного единства.

«И все я был один, – рассказывает Николенька в «Юности», – и все казалось, что таинственно-величавая природа, притягивающая к себе светлый круг месяца, стоящий везде, и как будто наполняющий собою все необъятное пространство, и я, ничтожный червяк, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа, и луна, и я, мы были одно и то же».

Оленин лежит в первобытном лесу, в логовище оленя. «Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары; и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары: «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!» – жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как и те, которые живут теперь вокруг него».

Князю Мышкину Достоевского мучительно чужд и недоступен «вечный праздник природы». Как незванный гость, «всеми чужой и выкидыш», тоскливо стоит он в стороне и не в силах отозваться душою на ликование жизни. Для Толстого же этот праздник – свой, родной. Он рвется в самую его гущу, как ласточка в воздух.

«Я люблю природу, – пишет Толстой, – когда она со всех сторон окружает меня и потом развивается бесконечно вдаль, но когда я нахожусь в ней. Я люблю, когда со всех сторон окружает меня жаркий воздух, и этот же воздух, клубясь, уходит в бесконечную даль, когда вы не одни ликуете и радуетесь природой, когда около вас жужжат и вьются мириады насекомых, сцепившись, ползают коровки, везде кругом заливаются птицы. А это (альпийская вершина) –

голая, холодная, серая площадка, и где-то там красивое что-то подернуто дымкой дали. Но это что-то так далеко, что *я не чувствую главного наслаждения природы, не чувствую себя частью этого всего бесконечного и прекрасного далека. Мне дела нет до этой дали*». (Из черновых путевых заметок Толстого о Швейцарии.)

Вокруг человека – огромное море жизни: животные, растения. У них нет рассудка, они не умеют говорить. Но в них есть самое важное, что и в человеке важнее рассудка и слов.

«– Нынче весной, – рассказывает дядя Ерошка, – так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и сыну...» уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «беда, мол, детки: человек сидит!» – и затрещали все прочь по кустам.

– Как же это свинья поросяткам сказала, что человек сидит? – спросил Оленин.

– А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? *Нет, он умней человека, даром, что свинья называется. Он все знает. Хотя то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит... Она свинья, а все она не хуже тебя: такая же тварь божия. Эх-ма! Глуп человек, глуп, глуп человек!*»

Толстой говорит про лошадь Вронского Фру-Фру: «она была одно из тех животных, которые, кажется, *не говорят только потому, что механическое устройство их рта не позволяет им этого*».

И повсюду у Толстого только как будто эта механическая причина отделяет животных от людей.

«Старая Ласка, еще не совсем переварившая радость приезда Левина, вернулась со двора, махая хвостом, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтобы он поласкал ее.

– *Только не говорит*, – сказала Агафья Михайловна. – А пес... Ведь понимает же, что хозяин приехал и что ему скучно».

Мухортый ищет среди метели дорогу домой. «Никита только дергал вожжи, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца.

– *Только не говорит*, – приговаривал Никита. – Вишь, что делает! Иди, иди знай! Так, так... И умен же!.. Гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, за версту чует».

Собаки упустили волка. «Когда мы прибежали к канаве, волка уже не было, и обе собаки вернулись к нам с поднятыми хвостами и *рассерженными лицами*. Булька рычал и толкал меня головой – *он, видно, хотел что-то рассказать, но не умел*» («Булька и волк»).

Однако, в конце концов, слова не так уж необходимы. Тесное, непрерывное общение происходит между душами и помимо слов – путем взглядов, интонаций, какой-то своеобразной интуиции.

«Левин пустил собаку. Сытый, бурый третьяк, увидав собаку, шархнулся. Остальные лошади тоже испугались. Ласка остановилась, насмешливо посмотрела на лошадей и вопросительно на Левина. Левин посвистал в знак того, что можно начинать». Ласка почуяла дичь. «Чтоб найти, она начала уже круг, как вдруг голос хозяина развлек ее.

– Ласка! Тут! – сказал он, указывая ей другую сторону.

Она постояла, спрашивая его, не лучше ли делать, как она начала. Но он повторил приказание сердитым голосом».

Фру-Фру на скачках. «В то самое мгновение, как Вронский подумал о том, что надо теперь обходить Махотина, сама Фру-Фру, *поняв уже то, что он подумал*, без всякого поощрения значительно надела и стала приближаться к Махотину с самой выгодной стороны, со стороны веревки. Махотин не давал веревки. *Вронский только подумал о том, что можно обойти и извне, как Фру-Фру переменила ногу и стала обходить именно таким образом...* Он подсказывал к ирландской банкетке. *Вместе с Фру-Фру он еще издалека видел эту банкетку, и вместе им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное сомнение. Он заметил нерешимость в*

ушах лошади и поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно: лошадь знала, что нужно».

Мне рассказывала одна моя знакомая: до семнадцати лет она безвыездно жила в городе, животных, как все горожане, видела мало и знала еще меньше. Когда она в первый раз стала читать Толстого и через него почувствовала животных, ее охватил непередаваемый, странный, почти мистический ужас. Этот ужас она сравнивает с ощущением человека, который бы увидел, что все неодушевленные предметы вокруг него вдруг зашевелились, зашептались и зажили неожиданною, тайною жизнью.

И не только в животных есть для Толстого эта тайная, но близкая человеку жизнь. Есть она и в растениях.

Толстой стал вырубать в саду молодые топольки, шедшие от корней большого тополя. «Мне иногда жалко становилось смотреть, как разрубали под землей их сочные корни, как потом вчетвером мы тянули и не могли вырвать надрубленный тополек. Он из всех сил держался и не хотел умирать. Я подумал: видно, нужно им жить, если они так крепко держатся за жизнь... Потом уже, когда было поздно, я узнал, что не надо было уничтожать их. Я думал, что отростки вытягивают сок из старого тополя, а вышло наоборот: когда я рубил их, старый тополь уже умирал. *Он давно уже умирал и знал это, и передал свою жизнь в отростки*».

Деревья умеют ходить. Черемуха выросла близко от липы, липа затенила ее. «Черемуха, чтоб ее не глушила липа, перешла из-под липы на дорожку. *Она почуяла, видно, что ей не жить под липой, вытянулась, вцепилась сучком на землю, сделала из сучка корень, а тот корень бросила*» (Рассказы для детей из ботаники: «Как ходят деревья»).

«Тополь *знал*, что умирает», «черемуха *почуяла*, что ей не жить». У Толстого это не поэтические образы, не вкладывание в неодушевленные предметы человеческих чувств, как делают баснописцы. Пусть не в тех формах, как человек, – но все же тополь и черемуха *действительно* знают что-то и чувствуют. Эту тайную их жизнь Толстой живо ощущает душою, и жизнь эта роднит дерево с человеком.

Толстой рубит черемуху. «Всякую работу весело работать; весело и рубить. Весело наискось глубоко всадить топор и потом напрямик подсесть подкошенное и дальше, и дальше врубаться в дерево. Я совсем забыл о черемухе и только думал о том, как бы скорее свалить ее... Когда я запыхался, я положил топор, уперся с мужиками в дерево и попытался свалить его. Мы качнули: дерево задрожало листьями, и на нас посыпались белые душистые лепестки цветов. В то же время точно вскрикнуло что-то, – хрустнуло в середине дерева, – мы налегли, и как будто заплакало, затрещало в середине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились.

– Эх, штука-то важная! – сказал мужик. – Живо жалко!

А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим»...

Еще крепче эта таинственная, живая связь у людей друг с другом. Наружно они общаются словами, но души их, помимо слов, все время соприкасаются в каком-то другом общении, неизмеримо более глубоком, тесном и правдивом.

«– А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? – спросил Лукашка, подвигаясь к ней.

Марьянка, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, *как будто что-то особенное, не зависимое от разговора, происходило в это время между ним и девкой*».

Николай Ростов возвратился с войны домой и встречается с Соней. «Он поцеловал ее руку и назвал ее *вы* – Соня, Но глаза их, встретившись, сказали друг другу *ты* и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы».

Князь Нехлюдов встречается с сестрою. «Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, не выразимый словами, многозначительный обмен взглядов, в котором все была правда, – и начался обмен слов, в котором уже не было той правды».

Но часто даже и взгляды излишни. Люди просто *чувствуют* друг друга.

Николай Ростов стоит в церкви на молебне. «Он тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его».

Андрей Болконский. «Он был в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.

– А, это она вошла! – подумал он.

Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа. С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости».

Грубое, по самой сути своей схематическое слово только уродует тонкое общение, которое происходит между душами.

Князь Андрей объясняется Наташе в любви. «Он взглянул на нее, и серьезная страстность выражения ее лица поразила его. Лицо ее говорило: «Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь?»

Княжна Марья Болконская приезжает к умирающему брату. «Она отерла глаза и обратилась к Наташе. Она чувствовала, что от нее она все поймет и узнает.

– Что... – начала она вопрос, но вдруг остановилась.

Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже».

Мир светел. Он весь полон единым, непрерывным трепетом жизни. Счастливым ответным трепетом полна и душа человека.

«Чего хотеть, чего желать? – пишет Толстой в «Люцерне». – Вот она, со всех сторон обступает тебя красота и поэзия. Вдыхай ее в себя широкими, полными глотками, насколько у тебя есть силы, наслаждайся, чего тебе еще надо! Все твое, все благо!»

Чем сильнее в человеке трепет жизни, чем больше у него *счастья*, тем выше и прекраснее становится человек, тем глубже и полнее понимает он «все, что стоит понимать в жизни».

«Наташа была так счастлива, как никогда еще в жизни. Она была *на той высшей ступени счастья, когда человек делается вполне добр и хорош* и не верит в возможность зла, несчастья и горя».

То же и с Пьером.

«Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, во внутренних сомнениях и противоречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.

«Я был тогда, – думал он, – умнее и проницательнее, чем когда-либо, и *понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что... я был счастлив*».

Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, *а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их*».

Счастье и радость обличают зло жизни, делают его наглядно-ужасным и чудовищным.

«— Го, го, го! Ха, ха, ха! Ух! Ух! — раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого нужно было, казалось, разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам.

Но ружья остались заряженными, бойницы так же грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые с передков пушки».

Ясным своим светом счастье ярко освещает вялость, убогость и искусственность людской жизни.

Ужин у князя Василия Курагина. Влюбленные Пьер и Элен сидят рядом. «Старая княгиня, предлагая с грустным вздохом вина своей соседке и сердито взглянув на дочь, этим вздохом как будто говорила: «да, теперь нам с вами ничего больше не осталось, как пить сладкое вино, моя милая, теперь время этой молодежи быть так дерзко, вызывающе-счастливой». «И что за глупость все то, что я рассказываю, как будто это меня интересует, — думал дипломат, глядя на счастливые лица любовников: — Вот это счастье!»

«Среди тех ничтожно-мелких искусственных интересов, которые связывали это общество, попало простое чувство стремления красивых и здоровых молодых мужчины и женщины друг к другу. И это человеческое чувство подавило все и царило над всем их искусственным лепетом. Шутки были невеселы, новости неинтересны, оживление, очевидно, поддельно. Казалось, и огни свечей сосредоточены были только на этих двух счастливых лицах».

Бёрне говорит: «Быть счастливым — это тоже добродетель». Для Толстого это великая добродетель и великая заслуга. Пьяница-музыкант Альберт замерзает на улице. Ему чудится голос друга-музыканта, защищающего его перед толпой: «Вы могли презирать его, мучить, унижать, а он был, есть и будет неизмеримо выше всех вас. Он *счастлив*, он добр. Ниц падайте перед ним! На колени!» — «*Да, он лучший и счастливейший!*» — невольно повторялось в воображении Альберта... В ближайшей церкви слышался благовест, и благовест этот говорил: «да, он лучший и счастливейший!» Далеко и высоко гудя где-то, колокол говорил: «Он вам жалок кажется, вы его презираете, а он лучший и счастливейший!»

У Достоевского было бы: «он лучший и *несчастнейший!*»

Толстой рассказывает про Нехлюдова: «В это лето у тетушек он переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша сам по себе познает всю красоту и важность жизни и всю значительность дела, предоставленного в ней человеку... Мир божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать».

Светлою тайною стоит мир божий и перед самим Толстым; радостно и восторженно он старается познать и разгадать эту тайну. В чем ценность жизни? В чем счастье? Для чего живет человек?

II

Способ познания

К важнейшим вопросам жизни Достоевский подходит с меркою разума и логики. Какое может быть для человека разумное основание любить людей, быть нравственным и благородным? Какая логика может заставить его жить и ценить жизнь, раз его ждет неизбежная смерть? Какой вообще может быть смысл в этой жизни, которая полна ужасов и скорбей? Ни на один из вопросов разум не может дать логического ответа. Больше, чем кто-либо другой, Достоевский знает, что разуму и не дано собственными силами разрешать подобные вопросы; разум может только передать сознанию ответы другого голоса, лежащего глубже и сокровеннее. Но другой этот голос в Достоевском молчит, как труп. Молчит и разум. Ответов нет. И вот – жизнь пуста, ужасающе-бессмысленна, лишена всякой внутренней ценности; только санкция со стороны способна дать ей ценность.

Толстой вообще относится к разуму с глубочайшим недоверием. Сложная жизнь не укладывается для него в ограниченные рамки слов, мыслей и убеждений. Твердость и определенность убеждений вернее всего свидетельствует об оторванности от жизни.

«В области политики, философии, богословия Каренин сомневался или отыскивал; но в вопросах искусства и поэзии, в особенности музыки, понимания которой он был совершенно лишен, у него были самые определенные, твердые мнения».

Старший брат Левина, ученый теоретик Кознышев, «никогда не изменял своего мнения о народе и сочувственного к нему отношения». В спорах с Левиным, гораздо ближе знавшим народ, «Кознышев всегда побеждал брата именно тем, что у Кознышева были определенные понятия о народе, его характере, свойствах и вкусах; у Константина же Левина никакого определенного и неизменного понятия не было, так что в этих спорах Константин был уличаем в противоречии самому себе».

Тем более ненадежен разум, когда он берется решать основные вопросы жизни. Все, чем жива жизнь, для Толстого лежит на каком-то совсем другом уровне, а не на том, где люди оперируют словами и оформленными мыслями.

«Главная черта ума Сперанского, поразившая князя Андрея, была несомненная, непоколебимая вера в силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прийти в голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнение в том, что *не вздор ли все то, что я думаю, и все то, во что я верю?*»

Человек жалок и беспомощен, когда подходит к жизни с одним только умом, с кодексом его понятий, суждений и умозаключений. Так был бы беспомощен скрипач, который вышел бы играть хотя бы и с самым прекрасным смычком, но без скрипки. Сущность жизни познается каким-то особенным путем, вне разумным. Есть способность к этому познанию, – и ум, как смычок, извлекает из него полные, живые, могущественные мелодии.

«И Наташа уходила в детскую кормить своего единственного мальчика Петю. Никто ничего не мог ей сказать столько успокоительного, *разумного*, сколько это трехмесячное маленькое существо, когда оно лежало у ее груди, и она чувствовала его движение и сопение носиком. Существо это говорило: «Ты сердисься, ты ревнуешь, ты хотела бы ему отомстить, ты боишься, а я вот он. А я вот он»... И отвечать нечего было. *Это было больше, чем правда*».

То же и с Кити. «Кити сердцем знала, что не только ребенок ее узнает няню, но что *он все знает и понимает, и знает, и понимает еще много такого, чего никто не знает*, и что она, мать, сама узнала и стала понимать только благодаря ему».

Умный Каренин или Кознышев со снисходительной улыбкою спросят Наташу и Кити: «Что же это *знает и понимает* ваш ребенок, чего никто не знает? Что он такого *разумного* говорит?» Конечно, ни Наташа, ни Кити не сумеют ответить, и умные люди пожмут плечами.

Умирает Николай Левин. За ним ухаживают Константин Левин, Кити и няня Агафья Михайловна.

«Скрыл от премудрых и открыл детям и неразумным» – так думал Левин про свою жену, разговаривая с ней в этот вечер.

Левин думал об евангельском изречении не потому, чтоб он считал себя премудрым. Он не считал себя премудрым, но не мог не знать, что *он был умнее жены и Агафьи Михайловны*, и не мог не знать того, что когда он думал о смерти, он думал всеми силами души. Он знал тоже, что многие мужские большие умы, мысли которых об этом он читал, думали об этом и *не знали одной сотой того, что знали об этом его жена и Агафья Михайловна*. Как ни различны были эти две женщины, и Агафья Михайловна и Кити, они в этом были совершенно похожи. Обе несомненно знали, что такое была жизнь и что такое была смерть, и хотя никак не могли ответить и не поняли бы даже тех вопросов, которые представлялись Левину, обе они не сомневались в значении этого явления и совершенно одинаково, не только между собою, но разделяя этот взгляд с миллионами людей, смотрели на это».

Что-то знает в этой таинственной области дядя Ерошка. «Он удивился, почему русские все просты, и *отчего они ничего не знают, а все ученые*». Русские господа не знают, а зверь знает. «Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека. Он *все знает*... Глуп человек, глуп, глуп человек!..»

Смерть брата производит на Левина очень сильное впечатление. «Он ужаснулся не столько смерти, сколько жизни без малейшего знания о том, откуда, для чего, зачем и что он такое». Левин пересматривает свои убеждения, читает философов, – не только нет никаких ответов, но ничего похожего на ответ. «Он был в положении человека, отыскивающего пищу в игрушечных и оружейных лавках... Нарочно вдаваясь в ту ловушку слов, которую ставили ему философы или он сам себе, он начинал как будто что-то понимать. Но стоило забыть искусственный ход мысли и из жизни вернуться к тому, что удовлетворяло, – и вдруг вся эта искусственная постройка заваливалась, как карточный дом, и ясно было, что постройка была сделана из тех же перестановленных слов, *независимо от чего-то более важного в жизни, чем разум*».

Жизнь теряет для Левина всякий смысл. Его тянет к самоубийству. Но рядом с этим наблюдается одно чрезвычайно странное явление. «Когда Левин думал о том, что он такое и для чего он живет, он не находил ответа и приходил в отчаяние; но когда он переставал спрашивать себя об этом, *он как будто знал, и что он такое, и для чего живет, потому что твердо и определенно действовал и жил*; даже в это последнее время он гораздо тверже и определеннее жил, чем прежде».

Левин как будто подходит к чему-то очень большому и важному. Еще одно усилие, – и смычок коснется струн таинственной скрипки, и Левину откроется то, что знают Агафья Михайловна и сопящий носиком Петя, дядя Ерошка и зверь.

И вдруг...

III

«Смысл добра»

Вдруг Левин услышал слова мужика:

«Фоканыч для души живет, бога помнит. По правде живет, по-божью».

Эти слова производят в душе Левина полный переворот. «Не для нужд своих жить, а для бога». Неверующему Левину становится вдруг ясно, что он мог жить только благодаря тем христианским верованиям, в которых он был воспитан. «Что я бы был такое, если бы не имел этих верований, не знал, что надо жить для бога, а не для своих нужд? Я бы грабил, лгал, убивал». То несознаваемое, чем крепок Левин, оказывается христианским богом, с «законами добра, явленным миру откровением». Это же, по объяснению Левина, дает Агафье Михайловне и Кити внутреннее знание того, что такое жизнь и смерть. Лишь благодаря христианским верованиям миллионы людей живут, находя в жизни смысл.

Но перед Левиным встает, как сам он чувствует, «опасный» вопрос: «Ну, а евреи, магометане, конфуцианцы, буддисты, что же они такое?» Левин отвечает: «Вопроса о других верованиях и их отношениях к божеству я не имею права и возможности решить». Кто же тогда дал ему право решать вопрос о христианских верованиях, – решать, что именно моральное содержание христианства единственно дает людям силу жизни?

Тщетно ждем мы от художника Толстого, чтобы он в живых образах показал нам раскрывшийся Левину смысл жизни. «С Кити никогда не будет ссор, с гостем, кто бы он ни был, буду ласков». Но с Кити Левин опять поссорился – и приходит к окончательному выводу: «Так же буду сердиться на Ивана-кучера, так же буду спорить... Но жизнь моя теперь не только не бессмысленна, как было прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я *властен* вложить в нее».

Не «вложил», даже не «вложу», а только «*властен* вложить»! И что вложить-то? «С Кити не будет ссор, с гостем буду ласков». И бессмысленная прежде жизнь вдруг освещается смыслом! Вот тот живящий хлеб, который, наконец, нашел Левин. Но ведь этот хлеб из папье-маше! Левин искал пищу в игрушечных и оружейных лавках. Очевидно, в одной из игрушечных лавок ему и подсунули этот хлеб.

Но как же Левин не заметил, что хлеб его – из папье-маше? Очевидное дело: Левин искал пищу, не будучи голоден. Вот почему грубо сделанное подобие хлеба он так легко и принял за хлеб. Вопрос о смысле жизни был для него чисто умственным вопросом; в бессознательной своей глубине он твердо знал, «и что он такое, и для чего живет». Вот почему он так легко удовлетворился своим поспешным, скомканным, ни на что не отвечающим ответом.

Но не один только Левин находит у Толстого смысл жизни в добре. Большинство его героев приходит к тому же. Поищем у них, что же это за смысл, который дается жизни добром?

Оленин лежит в лесу. Его охватывает чувство счастья, ощущение единства со всем окружающим; в сердце вскипает любовь ко всему миру. Это сложное чувство он разлагает умом и анализирует, старается уложить в форму, в которую оно совершенно неспособно уложиться.

«Как надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» – И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе *таким требовательным эгоистом*, тогда как, в сущности, ему для себя ничего не было нужно... И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье вот что, – сказал он сам себе, – счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно... Какие желания всегда могут быть удовлетворены? Какие? Любовь, самопожертвование!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой».

Он решает «раскидывать на все стороны паутину любви: кто попадется, того и брать». Но увы: никто не попадает. Насекомые кругом слишком крупны. Они вольно носятся в воздухе, пролетают сквозь жиденькую паутину Оленина, рвут ее и даже не замечают. И сам паук любви начинает чувствовать, что куда радостнее летать в воздухе, чем сидеть в уголке на своей паутине. «Иногда Оленин забывал вновь открытый им рецепт счастья и считал себя способным слиться с жизнью дяди Ерошки, но потом вдруг опоминался и тотчас же хватался за мысль сознательного самоотвержения».

А кругом – люди, не нуждающиеся в его рецепте. «Люди здесь живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, земле, дереву, других законов у них нет... И оттого люди эти, в сравнении с ним самим, казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя».

Оленина тянет к жизни. Сильнее разгорается любовь к красавице Марьянке. Он с силою схватывает ее наедине, крепко целует. «Все пустяки, что я прежде думал: и любовь и самоотвержение. Одно есть счастье: кто счастлив, тот и прав, – мелькнуло в его голове».

Однако счастье ему не дается. Оленин опять обращается за объяснением к своему прошедшему, но теперь причину находит совсем уже не в том, в чем видел прежде, – не в том, что был «таким требовательным эгоистом».

«Я пробовал, – пишет он, – отдаваться этой жизни и чувствовал *свою слабость, свою изломанность. Я не мог забыть себя и своего сложного, негармонического, уродливого прошедшего...* Самое ужасное и самое сладкое в моем положении то, что я чувствую, что я понимаю Марьяну, а она никогда не поймет меня. Она не поймет не потому, что она ниже меня, напротив, она не должна понимать меня. Она счастлива: она, как природа, равна, спокойна и сама в себе. А я, *исковерканное, слабое существо, хочу, чтоб она поняла мое уродство и мои мучения.* Любя ее, я испытываю не желание наслаждения, это что-то другое. *Любя ее, я чувствую себя нераздельною частью всего счастливого божьего мира.* Я писал прежде о своих новых убеждениях, которые вынес из своей одинокой жизни. Дороже этих убеждений ничего во мне не было... Ну... Пришла любовь, и их нет теперь, нет и сожаления о них! *Даже понять, что я мог дорожить таким односторонним, холодным, умственным настроением, для меня трудно.* Пришла красота и в прах рассеяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожаления нет об исчезнувшем! *Самоотвержение – все это вздор, дичь.* Это все гордость, убежище от заслуженного несчастья, спасение от зависти к чужому счастью. Жить для других, делать добро! Зачем? Я не люблю теперь этих других. Я живу не сам по себе, но есть что-то сильнее меня, руководящее мною. Я мучаюсь, но прежде я был мертв, а теперь только я живу».

Кончается роман тускло и нудно. Марьяна соблазнилась, было, браком с богатым «юнкирем», но после смерти Лукашки отворачивается от Оленина.

«Уйди, постылый! – крикнула девка, топнула ногой и угрожающе подвинулась к нему. И такое отвращение, презрение, злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться».

Он навсегда уезжает из станицы. Жалок его отъезд. С глубоким равнодушием все смотрят на уезжающего, как будто он и не жил среди них. И ясно: Оленин стал всем чужд не потому, что не сумел удержаться на высоте своего самоотвержения, а потому, что в нем не оказалось *жизни*, – той жизни, которая ключом бьет окружающих людей – в Лукашке, Марьяне, дяде Ерошке.

В «Утре помещика» князь Нехлюдов открывает ту же – «ему казалось, – совершенно новую истину» о счастье в добре и самоотвержении. Но так же, как Оленин, он убеждается в мертвенной безжизненности этой истины. «Иногда я чувствую, что могу быть довольным

собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собою! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастья, а желаю, страстно желаю счастья».

Брошенная Вронским Кити знакомится за границею с самоотверженною Варенькою. Ей становится понятным счастье самоотвержения и любви к людям. Она начинает ухаживать за больными, пытается вся уйти в любовь и самоотречение. Но очень уже скоро в величайшем волнении она говорит Вареньке:

«Все это было притворство, потому что это все выдуманное, а не от сердца. Какое мне дело до чужого человека? Ах, как глупо, как гадко!.. Нет, теперь я уже не поддамся на это! Быть дурною, но по крайней мере не лживою, не обманщицей! Пускай они живут, как хотят, и я, как хочу. Я не могу быть другою!»

С Варенькою она помирилась. «Но для Кити изменился весь тот мир, в котором она жила. Она не отрекалась от всего того, что узнала, но поняла, что она себя обманывала, думая, что может быть тем, чем хотела быть. Она как будто очнулась... и ей поскорее захотелось на свежий воздух».

«Смысл добра» открывается и Пьеру Безухову в учении масонов. «Он был, как ему казалось, порочным только потому, что он как-то случайно запомнил, как хорошо быть добродетельным». Мы увидим – пребывание в плену дало Пьеру новое, широкое понимание жизни, и он с чуждым, отказывающимся чувством вспоминает об откровениях масонства.

И так у всех художественно выписанных искателей смысла жизни. «Смысл добра», который они вкладывают в жизнь, так наглядно мертвен, так уродлив, что вызывает только раздражение, почти отвращение. Князь Нехлюдов в «Воскресении» пожертвовал собою для Катюши Масловой. После хорошего обеда у сибирского губернатора сидит он в мягком кресле, слушает симфонию Бетховена. «Рояль белый прекрасный, исполнение симфонии хорошее. Слушая прекрасное анданте, он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями». И горячо сочувствуешь озлоблению Масловой, с каким она думает об этом подвижнике: «Она знает его и не поддается ему, не позволит ему духовно воспользоваться ею, как он воспользовался ею телесно, не позволит ему сделать ее предметом своего великодушия».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.